

José de Sousa
SARAMAGO
1922 – 2010

Жозе
САРАМАГО

Евангелие от Иисуса

Роман



Санкт-Петербург

УДК 821.134.3
ББК 84(4Пор)-44
С 20

José de Sousa Saramago
O EVANGELHO SEGUNDO JESUS CRISTO
Copyright © The Estate of José Saramago, 1991



All rights reserved

Published by arrangement with Literarische Agentur Mertin Inh.
Nicole Witt e K. Frankfurt am Main, Germany

Перевод с португальского Александра Богдановского

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

Сарамаго Ж.

С 20 Евангелие от Иисуса : роман / Жозе Сарамаго ;
пер. с португ. А. Богдановского. — СПб. : Азбука, Аз-
бука-Аттикус, 2018. — 416 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-10600-0

В тревожной атмосфере евангельских времен один из крупнейших писателей современности Жозе Сарамаго пытается отыскать реальные причины тех страданий, которые перетрепели Иисус и его отец плотник Иосиф. Фигура Иисуса у него лишена героики; Иисус — человек со всеми присущими людям бедами и сомнениями, желаниями и ошибками.

Это одна из самых скандальных книг XX века, переведенная на все европейские языки; Церковь окрестила ее «пасквилем на Новый Завет», но именно за этот роман автор и получил Нобелевскую премию...

УДК 821.134.3
ББК 84(4Пор)-44

© А. Богдановский, перевод, 2018
© Издание на русском языке,
оформление. ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2016
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-10600-0

Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, — то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен.

Евангелие от Луки, 1, 1–4

Что я написал, то написал.

Пилат

У солнца, окруженного острыми тонкими лучами и извилистыми языками пламени, придающими полдневному светилу сходство с ополоумевшей «розой ветров», — человеческое лицо: плачущее, искаженное невыносимой болью, с распятым в беззвучном крике ртом — беззвучном потому, что ничего этого нет в действительности. Перед нами всего лишь бумага да краска. Ниже мы видим человека: он привязан к стволу дерева и совершенно гол, если не считать обмотанной вокруг бедер тряпки, прикрывающей то, что принято называть срамом; ноги его уперты в обрубок толстой ветви, и, для того, наверно, чтобы не соскользнули с этой природной подпорки, в них глубоко вогнаны два гвоздя. По вдохновенно-страдальческому выражению лица, по устремленному ввысь взгляду можно узнать разбойника Благоразумного. Безобманной приметой может служить и кудрявая голова — ведь у ангелов и архангелов волосы вьются, а раскаявшийся преступник, судя по всему, уже на полпути в Царство Небесное и к его обитателям. Неизвестно, можно ли счесть этот столб деревом, которое, особым образом изуродовав, превратили в орудие казни, продолжают ли еще его корни высасывать из почвы жизненные соки, а неизвестно потому, что всю нижнюю часть ствола заслоняет от нас длиннобородый человек в просторном, пышном и богатом одеянии, голова его вскинута, но смотрит он не на небо. Эта горделивая осанка, этот печальный лик могут

принадлежать только Иосифу Аримафейскому, а вовсе не Симону из Кирены, как можно было бы подумать, поскольку, согласно протоколу экзекуции, сей последний, понужденный помочь преступнику донести орудие казни до места, где совершилась она, потом пошел своей дорогой и гораздо более был озабочен теми неприятными последствиями, которые сулило ему невольное его опоздание, чем смертными муками распятого. Да-да, именно Иосиф из Аримафеи звали того добросердечного и состоятельного человека, что вызвался заплатить за могилу и за погребение в ней главного из троих казненных, но за свое великолодие он не был причислен к лику святых или хотя бы присноблаженных, и потому ничто, кроме чалмы, в которой он в свое время хаживал по улицам, не обвивает его голову, не в пример той склоненной долу женщине на переднем плане, чьи распущенные волосы осенены нимбом вечной славы, очень похожим на домодельное кружевце. Эту женщину на коленях, конечно, зовут Мария, потому что нам заранее известно: все женщины, что сойдутся здесь в этот час, носят это имя, и только одну в дальнейшем мы станем называть Магдалиной, чтобы отличить от всех прочих, хотя каждый, кто хоть чуточку осведомлен о самых элементарных житейских понятиях, с первого взгляда и так узнает в ней пресловутую Магдалину, ибо лишь женщина с бурным, как у нее, прошлым решилась бы в столь трагическую минуту появиться в платье с таким глубоким вырезом и лифом до того узким, что пышные округлости приподнятых, открытых и выставленных напоказ грудей неизбежно притягивают к себе жадные взгляды проходящих мимо мужчин, невольно рискующих впасть во грех плотского вожделения и навечно погубить свою душу. Тем не менее лицо ее говорит о глубочайшей скорби, а по-никшая фигура — о муке, которую испытывает ее душа, пусть и заключенная в столь соблазнительную телесную

оболочку, и потому оговоримся сразу: будь эта женщина и вовсе нагишом, мы все равно обязаны были бы отнестись к ней со всем мыслимым уважением и почтительностью. Мария Магдалина, если это она, с невыразимым словами состраданием держит и вроде бы собирается поцеловать руку другой женщины, которая простерта на земле, словно лишилась последних сил или ранена насмерть. Ее тоже зовут Мария — вторая в порядке появления и первая, самая что ни на есть первая по значению, если судить по тому, что в нижней части композиции отведено ей самое центральное место. Видны лишь заплаканное лицо и бессильно уроненные руки — все прочее скрыто под бесчисленными складками покрываала и туники, подпоясанной грубой, как можно угадать, веревкой. Она старше первой Марии, и это главная, хоть и не единственная причина того, что вокруг ее головы сияет nimbus более сложной и замысловатой формы — о чём, будучи спрошен, я, человек, хоть и не слишком сведущий относительно званий, рангов и иерархии, бытующих в этом мире, все же взял бы на себя смелость заявить. Да и потом, если вспомнить, сколь широко распространились изображения, подобные тому, о котором я веду речь, то лишь инопланетянин — при условии, что на этой иной планете не происходило время от времени или сейчас не происходит впервые нечто схожее, — так вот, лишь этот инопланетянин, существование которого и представить-то себе почти невозможно, не знает, что убитая горем женщина — это вдова плотника Иосифа, произведшая на свет многочисленных детей, из которых по воле судьбы или того, кто этой волей управляет, только один процвел и прославился, причем не слишком — в земной своей жизни и невероятно — по смерти. Склоняясь налево, Мария, мать Иисуса, — того самого, о ком только что было упомянуто, — опирается локтем о бедро еще одной женщины: она тоже стоит на коленях, ее тоже

зовут Мария, и вот она-то, хоть мы даже в воображении не можем увидеть вырез на ее платье, скорей всего, и есть истинная Магдалина. Так же как и у первой из этой троицы, длинные волосы распущены по спине, только у нее они, по всей видимости, белокурые, если, конечно, гравер не по чистой случайности, а намеренно, чтобы обозначить их светлый тон, ослабил нажим своего резца. И потому мы не можем с полной уверенностью утверждать, что Мария Магдалина в самом деле была златовласой, хотя полностью согласны с весьма распространенным мнением о том, будто блондинки, как натуральные, так и крашеные, суть самые совершенные орудия греха и погибели. И Марии Магдалине, великой грешнице, погубившей, как всем известно, свою душу, надлежит быть белокурой, хотя бы для того, чтобы не опровергать представление, к которому волей или неволей склоняется большая часть рода человеческого. Однако мы так настойчиво твердим, что она и есть Магдалина, вовсе не потому, что светлый тон ее волос — довод более весомый, чем тяжелые и щедро открытые груди первой Марии. Есть иное свидетельство, и оно позволяет установить ее личность с полной определенностью: взгляните лишь, как, одной рукой почти машинально поддерживая простирую на земле мать Иисуса, смотрит эта женщина на Распятого и в глазах ее горит такая подлинная, такая пламенная любовь, что кажется, будто и все ее тело, все ее плотское естество окружено сияющим ореолом, рядом с которым тускнеет и блекнет нимб над ее головой — магический круг, не допускающий в очерченные им пределы лишние чувства и мысли. Так может смотреть только женщина, обладающая способностью любить, которой наделяем мы одну Марию Магдалину, — вот вам окончательный и решающий довод в пользу того, что это она и есть, она и никто другой, и, стало быть, нечего и толковать о четвертой Марии, которая стоит рядом с нею, воздев руки и всем видом своим демонстрируя скорбь, но устре-

мив взор неведомо куда. Ей под стать и изображенный в этой части гравюры совсем молодой, едва вышедший из отрочества мужчина в манерной позе — левая нога его согнута в колене, а правая аффектированно-театральным жестом устремлена к этим четырем женщинам, разыгравшим на земле драматическое действие. Этот молоденький кудрявый юноша с дрожащими губами — Иоанн. Он, как и Иосиф Аримафейский, заслоняет собой комель другого дерева, на вершину которого, где бы надо быть птичьим гнездам, воздет, привязан и прибит еще один человек. В отличие от первого волосы у него прямые, голову он опустил, чтобы посмотреть — если еще способен смотреть, — что происходит внизу, и худое, с ввалившимися щеками лицо его так не похоже на лицо его товарища на другом столбе, который и в предсмертном оцепенении, в муках агонии нашел в себе мужество поднять голову, обратить к нам лицо, даже на черно-белой гравюре все еще румяное и полнокровное. Второй же, уронивший голову на грудь, будто всматривающийся в землю, готовую принять свою убогую добычу, дважды обреченный — и на мучительную казнь, и на муки ада, — может быть только Злым разбойником. Признаем, однако, что прямодушный и нелукавый нрав придал ему душевных сил не прикидываться, что он верит, будто минута раскаяния способна искупить целую злодейскую жизнь или хотя бы один час слабости. Над его головой горюет и плачет луна, изображенная в виде женщины с такой неуместной серьгой в ухе, — подобную вольность не допускал раньше ни один художник или поэт, и сомнительно, чтобы, несмотря на этот дурной пример, кто-либо позволил себе впредь. Скорбящие солнце и луна с двух сторон заливают землю ровным, без теней, светом, и потому, должно быть, так отчетливо предстает нам все изображенное на гравюре до самой линии горизонта — башни и крепостные стены, подъемный мост, перекинутый через ров, где поблескивает вода, готические

шпицы крыши, и в самой глубине, на вершине последнего холма, — замершие крылья ветряной мельницы. Чуть ближе гарцают на вышколенных конях четыре всадника в полном вооружении, но по их жестам можно предположить, что они подоспели к концу зрелища и шлют прощальный привет невидимым нам зрителям. Это же впечатление завершившегося празднства производит и фигура пешего латника, который уже делает шаг прочь от места казни, неся в правой руке то, что издали кажется тряпкой, но при ближайшем рассмотрении может оказаться туникой или хитоном; тем временем двое других солдат проявляют, насколько можно судить на таком расстоянии о выражении их крошечных лиц, досаду и даже злость — как те, кому не выпал счастливый жребий. Над этой пошлой обыденностью — над солдатами, над обнесенным стеной городом — парит четверка ангелов, двое из которых, изображенные во всех подробностях, горько плачут и стенают, тогда как деловито насупленный третий занят тем, что старается до последней капли собрать в подставленную чашу кровь, струей бьющую из правой стороны груди Распятого. Здесь, на этом холме, называемом Голгофой, подобная злая участь многих уже постигла, многих еще ждет, но только одного из всех — вот этого обнаженного человека, руки и ноги которого пригвождены к кресту, этого сына Иосифа и Марии, по имени Христос, — грядущее удостоит заглавной буквы, все же прочие так навсегда и останутся просто распятыми. Теперь наконец понятно, куда устремлены взгляды Иосифа Аримафейского и Марии Магдалины, кого оплакивают солнце и луна, кому возносит хвалу Благоразумный разбойник и кого хулит его нераскаянный товарищ, не понимая, что ничем не отличается от своего собрата, а если и есть между ними какая-либо разница, то не в том она, что один раскаялся, а второй закоснел в грехе, ибо они оба не существуют сами по себе, каждый из них

всего лишь возмешает собой то, что отсутствует в другом. Над головой Распятого ярче солнца и луны горят тысячей лучей буквы латинской надписи, провозглашающей его Царем Иудейским, лоб и виски стягивает сплетенный из колючих веток венок — его, даже не догадываясь об этом, носят, причем вовсе не обязательно, чтобы хлестала из распоротой плоти кровь, — те, кому не позволяют быть царями себе самим. Иисусу в отличие от двух разбойников не во что упереться ногами, и, не напрягай он из последних сил верхнюю половину тела, оно всей тяжестью обвисло бы на руках, прибитых гвоздями к перекладине, но надолго ли еще хватит сил этих, если, как уже было сказано, из раны в груди льется кровь, вымывая из него жизнь. Между двумя укосинами, которые удерживают крест в вертикальном положении и вместе с ним уходят в темное лоно земли, нанося ей, впрочем, рану не смертельней, чем любая человеческая могила, лежит череп, а рядом — лопатка и берцовая кость, но нас интересует именно череп, поскольку это и значит в переводе слово «голгофа». Неизвестно, кто и зачем положил здесь эти бренные останки. Быть может, кто-то с мрачной иронией предупреждает тех несчастных, что мучаются на кресте, какая участь им уготована, прежде чем они обратятся в землю, в прах, в ничто. Иные утверждают, что это череп самого Адама, который всплыл на поверхность из черной пучины древних геологических пластов и, не в силах вернуться назад, обречен на вечные времена видеть перед собой землю — свой единственно возможный и навсегда потерянный рай. По той же равнине, где, горяча напоследок своих жеребцов, скачут всадники в латах, идет человек: удаляясь от нас, он обернулся на ходу. В левой руке его ведро, в правой — длинная палка с насаженной на нее губкой, которую отсюда, впрочем, почти не разглядеть. В ведре же, ручаюсь вам, — вода с уксусом. Человеку этому отныне и до скончания века

суждено быть жертвой клеветы: про него станут распускать вздорные слухи, будто он, когда Иисус попросил пить, по злобе или в насмешку напоил его уксусом. На самом же деле подкисленная уксусом вода в тех краях издавна и справедливо почиталась лучшим средством утолить жажду, ибо освежает как мало что другое. Он уходит прочь, он не дождется конца, ибо сделал что мог — унял мучительную сушь, терзавшую нутро троих обреченных, не делая различий между Иисусом и разбойниками, поскольку рассуждал просто: все они из земли взяты, в землю и перейдут. Вот и все, что можно будет о них сказать.

Ночи еще долго идти до рассвета. На гвозде у дверного косяка горит масляная плошка, но зыбко подрагивающая миндалина огонька не в силах справиться с мраком, который окружает ее и со всех сторон заполняет комнату, становясь в дальних углах непроницаемо густым и плотным, хоть ножом его режь. Иосиф проснулся как от толчка, словно кто-то разбудил его, резко тряхнув за плечо, но, наверно, этот толчок был кусочком мгновенно рассеявшегося сна — трясти его было некому, и никого не было в доме, только он да жена, которая спит не шевелясь. Никогда еще не просыпался он среди ночи: обычно он открывал глаза не раньше, чем широкая щель в двери точно набухала и сочилась пепельным холодным светом. Сколько раз он собирался заделать ее — плотнику ничего не стоит приладить да прихватить гвоздями подходящую деревяшку, — но уже так привык, открывая глаза, видеть перед собой вертикальную полоску света, прозвозвестницу дня, что постепенно ему стало казаться, что без нее никак не выбраться из сонной тьмы, сковывавшей и его тело, и мир вокруг. Щель была частью дома, вроде стен или потолка, очага или убитого земляного пола. Вполголоса, чтобы не разбудить спавшую рядом

жену, Иосиф произнес слова утренней молитвы, которую должно творить по возвращении из таинственной страны сна: Благодарю Тебя, Господи мой Боже, Царю Небесный, за то, что по милости Твоей возвратил мне душу прежней и живой. Потому, должно быть, что не все пять его чувств очнулись от сна разом — а впрочем, не исключено, что во времена, о которых мы ведем речь, люди еще не обрели власть над каждым или, напротив, утратили те, что так полезны нам сегодня, — Иосиф, словно из дальней дали, следил за тем, как медленно, постепенно проникает и заполняет все закоулки и изгибы тела возвращающаяся душа, подобно воде, которая растекается по земле извилистыми ручейками и всасывается внутрь, до самых глубоких корней, чтобы потом напитать заключенной в ней жизненной силой стебли и листья. И видя, как трудно это возвращение, Иосиф, поглядев на лежавшую рядом жену, побоялся потревожить ее сон: она являла собой телесную оболочку, лишенную души, ибо та отлетает от спящего, иначе зачем бы надо было возносить ежеутренне хвалу Господу за то, что ежеутренне Он возвращает нам ее при пробуждении, и в этот миг некий голос внутри осведомился: Откуда же тогда берутся наши сны? Быть может, сны — это память души о теле, подумал Иосиф: это и был ответ. В этот миг Мария пошевелилась — видно, душа ее витала где-то неподалеку, в доме, — но не пробудилась, а только глубоко вздохнула, как всхлипнула, и потянулась к мужу, сделав всем телом волннообразное, но бессознательное — ибо в яви никогда бы на него не осмелилась — движение. Иосиф натянул на плечи колючую и шершавую простыню, поудобнее устроился на циновке, не отстраняясь, почувствовал, как постоянное на каких-то ароматах — будто откинули крышку ларца с пахучими травами — тепло постепенно проникает сквозь ткань его рубахи, соединяется с его собственным теплом. Потом, медленно смыгив веки, позабыл,

о чем думал, и отрешенное от души тело вновь погрузилось в сон.

Разбудил его лишь крик петуха. В щели мерцал мутный свет, сероватый, как вода на водопое. Время, терпеливо и кротко дожидавшееся, когда у ночи иссякнут силы, теперь готовило поле к приходу утра, как вчера, как всегда, ибо миновали те легендарные дни, когда солнце, которому мы и так уж стольким обязаны, могло остановиться над Гаваоном, чтобы Иисус Навин успел победить пятерых царей, подступивших под стены города. Иосиф сел на циновке, откинулся на спинку, и в этот миг петух прокричал во второй раз, напоминая, что он забыл поблагодарить Творца всего сущего за те свойства, которыми наделен по воле Его петух. Благодарю Тебя, Господи мой Боже, Царю Небесный, что даровал петуху способность отличать день от ночи, сказал Иосиф, и в третий раз прокричал петух. Обычно на заре крик его подхватывали, перекликаясь, все соседские петухи, однако сегодня безмолвствовали они, словно для них ночь еще не кончилась или же только наступила. Иосиф не без тревоги поглядел на жену, удивляясь, что она, просыпавшаяся обычно, как птичка, от легчайшего шороха, так крепко спит сегодня, словно некая посторонняя сила, снизойдя на нее или паря над нею, прижимает ее к земле, позволяя, однако, пошевелиться, — Иосиф и в полусладком заметил, как время от времени рябью по воде пробегает по ее телу дрожь. Уж не заболела ли? — подумал он, но чуть зародившуюся тревогу пресекла настоятельная надобность облегчиться, и это тоже было не как всегда — не ко времени и слишком уж остро. Осторожно поднявшись, чтобы жена не проснулась и не догадалась, куда идет он — ибо Закон велит всячески охранять достоинство мужчины, — он отворил заскрипевшую дверь и вышел на двор. Был тот час, когда утренние сумерки будто пеплом припирашают весь мир. Иосиф направился к низенькой пристроечке, где было стойло осла, и там справил нуж-

ду, с полубессознательным удовольствием слушая, как сильная струя с шумом бьет в солому. Осед, прядая длинными волосатыми ушами, повернул к нему голову — блеснули в полумраке выпуклые глаза — и вновь сунул морду в ясли, ухватывая толстыми чуткими губами остатки корма. Иосиф подошел к висевшему на веревке кувшину, наклонил его, вымыл руки и, вытирая их подолом собственной рубахи, вознес хвалу Господу за то, что в неизреченной мудрости своей снабдил человека столь нужными для жизни природными сосудами и отверстиями, которые в должный миг открываются или закрываются. Тут он взглянул на небо, и сердце у него екнуло — солнце все еще тянуло со своим появлением, и на всем небосводе не было и малейшего следа заревого багрянца, не горело ни единого розового или светло-вишневого блика, но от края до края, насколько позволяли видеть стены, под необъятным куполом низких облаков, подобных полуразмотанным клубкам шерсти, разливалася ни на что не похожий, невиданный лиловый цвет, который на востоке, там, где должно было проклонуться солнце, светел и подрагивал, а на всем остальном пространстве все сильнее и гуще набухал чернотой, делавшейся кое-где уже неразличимой с ночным небом. Иосиф за всю свою жизнь не видел такого, хоть и слышал от стариков, что, доказывая могущество Создателя, иногда случаются чудесные небесные явления — радуги вполнеба, лестницы, уходящие на головокружительную высоту от земли к небосводу, сыплющаяся с небес манна. Но никогда и слышать не доводилось о том, что небо может стать такого цвета, вполне способным возвещать и начало и окончание чего-то, что над всем миром протянется плывущий в поднебесье купол, состоящий из маленьких, сцепленных друг с другом облачков, неисчислимых, как камни в пустыне. Душу его объял страх, почудилось, что пришел конец света и что единственным свидетелем того, как исполнит Господь свой приговор,

будет он один: на небе и на земле не слышно было ни звука — ни говора, ни детского плача не доносилось из соседских домов, ни слов молитвы, ни проклятий, ни шума ветра, ни блеяния коз, ни собачьего лая. Почему же не поют петухи, пробормотал он и в смятении тотчас повторил эти слова, словно петушиный крик мог дать последнюю надежду на спасение. А в небе тем временем произошли перемены. Постепенно, почти незаметно лиловый цвет с изнанки облачного купола стал блекнуть, сменяясь бледно-розовым, а потом красным, пока не исчез бесследно — был и нет, — и небо вдруг точно взорвалось светом, и бесчисленные золотые копья вонзились в облака, пропороли их насквозь, а те, неведомо почему и как, выросли, превратились в исполинские корабли с раздутыми парусами и заскользили по наконец очистившемуся небу. Освободилась от страха и душа Иосифа, глаза его расширились от изумления и восторга: зрелище, единственным свидетелем которого он был, принадлежало к числу небывалых, и уста его сами собой вознесли хвалу Творцу природы, но небеса во всем своем безмятежном величии ждали от него лишь тех простых слов, каких и можно ждать от человека: Слава Тебе, Господи, за то, слава за это и еще за то. Он сказал их, и в то же мгновение, словно было произнесено заклинание, словно распахнулась наглухо запертая дверь, шум жизни ворвался туда, где прежде царило безмолвие, оттеснив тишину в случайные и отдаленные уголки пространства вроде крохотных лесных прогалин, окруженных и скрытых шелестом и звоном деревьев. Утро поднималось и ширилось, и почти нестерпимой стала открывшаяся глазам красота, когда чьи-то исполинские руки подбросили в воздух и пустили в полет огромную райскую птицу с горящим на солнце оперением, развернули сверкающим веером тысячеглазый хвост павлина, заставили залиться немудрящей трелью какую-то безымянную птичку. Порыв ветра,

родившегося здесь же, ударил Иосифу в лицо, взъерошил ему бороду, раздул рубаху, завертелся вокруг него, как перекати-поле, а быть может, все это было лишь мгновенным помрачением рассудка, рожденным вдруг вскипевшей кровью: вдоль хребта у него побежали огненные мурашки — признак надобы иной, еще более жгучей, чем та, что вывела его на двор.

Двигаясь так, словно какой-то вихрь нес его, Иосиф вошел в дом, притворил за собою дверь и постоял минуту, давая глазам привыкнуть к полутьме. Рядом бледно, бесполезно горела плошка. Проснувшаяся Мария лежала на спине, пристально и внимательно глядела прямо перед собой и, казалось, ждала. Иосиф молча приблизился, медленно стянул простыню, закрывавшую ее. Она отвела глаза, взялась за подол рубахи, но успела поднять ее лишь до живота, как Иосиф, склонившись над ней, сделал со своей рубахой то же самое, а Мария разомкнула колени. Впрочем, может быть, ноги ее раздвинулись еще раньше, во сне, и она осталась лежать так, охваченная то ли непривычной утренней истомой, то ли предчувствием, посещающим супругу, которая знает свой долг. Бог, как известно, вездесущ и, наверно, был тогда где-то поблизости, но в качестве бесплотного духа не мог видеть, как соприкоснулись их волосы, как его плоть проникла в ее плоть, исполняя свое предназначение, а когда священное семя Иосифа излилось в священное лоно Марии, Бога, наверно, уже не было там, ибо на свете есть нечто, недоступное разумению даже и того, кто сам это сотворил. Выйдя во двор, Бог не мог слышать сдавленного, как бы предсмертного, хрипа, который издал мужчина, и уж подавно — почти неуловимого стона, который не смогла сдержать женщина. Через минуту, а может, и раньше Иосиф поднялся, высвободив Марию, и та одернула рубаху, натянула простыню, закрыла лицо сгибом локтя. Став посреди комнаты, воздев руки, устремив

глаза в потолок, муж произнес самую ужасную из всех молитв: Благодарю Тебя, Господи мой Боже, за то, что не создал меня женщиной. Бога к этому времени не было уже и во дворе, ибо не затряслись, не обвалились стены дома, не разверзлась земля. Тут в первый раз прозвучал тихий голос бессловесной доселе Марии, смиренно произнесшей: Благодарю Тебя, Господи, за то, что создал меня по воле Твоей. Заметьте, что слова эти ничем не отличаются от других, всем известных и прославленных: Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Очевидно, что женщина, которая могла произнести те слова, способна произнести и эти. Потом Мария, жена плотника Иосифа, поднялась со своей циновки, скатала ее вместе с мужниной и сложила вдвое покрывавшую их простыню.

А жили Иосиф и Мария в Галилее, в mestечке Назарет, малолюдном и бедном, в доме, почти неотличимом от соседских, — в такой же, как у всех, убогой и кривой лачуге, сложенной из кирпича, обмазанной глиной и, чтобы меньше уходило материала, прилепленной к холму, склон которого заменял одну стену. Никаких тебе архитектурных изысков — все как у всех, по раз и навсегда установленному шаблону, что, никогда не приедаясь, повторялся снова и снова. Как нам уже известно, Иосиф был плотником, недурно знавшим свое ремесло, однако начисто лишенным воображения, мастерства или выдумки, что и обнаруживалось всякий раз, как заказывали ему работу более или менее тонкую. Не думаю, однако, чтобы это обстоятельство возмутило даже самых требовательных моих читателей, — всем ведь понятно, что человеку, которому едва перевалило за двадцать, живущему в краю со столь ограниченными возможностями и еще более скучными потребностями, просто негде набраться опыта, невозможно развить эстетическое чувство, без чего достичь

в своем деле совершенства никак не получится. И потому, не желая сводить достоинства человека к тому, в какой мере можно считать его истинным мастером, скажу, что Иосиф, несмотря на молодые годы, считался в Назарете человеком праведной жизни и богобоязненным, ревностно и неукоснительно исполнял все обряды, и, хоть Бог не отметил его, не выделил из всех прочих смертных даром красноречия, однако же суждения его были здравы, замечания точны и уместны, особенно если беседа предоставляла возможность допустить сравнение или дать определение, как-то связанные с его ремеслом, — упомянуть, например, о том, как ладно пригнан и плотно сколочен мир вокруг. Но поскольку Иосиф от природы был лишен крылатого, воистину творческого воображения, то ни разу за всю свою недолгую жизнь он не высказал ничего такого, что осело бы в памяти жителей Назарета и передавалось бы из уст в уста от детей к внукам, не произнес ни одной из тех чеканных фраз, смысл которых, заключенный в прозрачную словесную оболочку, столь ослепительно ясен, что в грядущем сможет обойтись без назойливых толкователей, или же, напротив, достаточно темен и туманен, чтобы в наши дни превратиться в лакомый кусочек для эрудитов разного рода.

Что же касается дарований и талантов Марии, то при всем желании не удалось обнаружить ничего особенно го у той, что и в замужестве осталась хрупкой шестнадцатилетней девочкой, каких во все времена, в любых краях приходится тринадцать на дюжину. Впрочем, Мария при всей своей хрупкости работает, как и все женщины, — ткет, прядет и шьет, каждый Божий день печет в очаге хлеб, спускается к источнику за водой, а потом, по узким тропинкам, по крутым склону, с тяжелым кувшином на голове, карабкается вверх, под вечер же по тем же тропинкам идет собирать хворост, а заодно заполняет свою корзину высохшим навозом, колючими ветками

чертополоха и терновника, которые в таком изобилии растут на крутых назаретских откосах, ибо ничего лучше их не измыслил Господь для того, чтобы растопить очаг или сплести венец. Вес набирается изрядный, и лучше бы эту кладь навьючить на осла, если бы не одно немаловажное обстоятельство — осел определен на службу Иосифу и таскает его деревяшки. Босиком ходит Мария к ручью, босиком — в поле, и убогие ее одежды от каждого-дневных трудов рвутся и пачкаются, так что приходится их снова и снова штопать, зашивать, стирать. Мужу достаются и обновки, и заботы, Мария же, как и все тамошние женщины, довольствуется малой малостью. И в синагогу ей можно войти лишь через боковую дверь, как Закон предписывает женщинам, и соберись их там вместе с нею хоть тридцать душ, сойдись они хоть со всего Назарета, хоть со всей Галилеи, надобно будет ждать, покуда не придут по крайней мере десять мужчин: тогда лишь может начаться богослужение, в котором им, женщинам, позволено принять участие лишь в качестве безмолвных и сторонних наблюдательниц. Не в пример мужу своему, Иосифу, она не славится набожностью и благочестием, хоть дело тут не в каких-то ее моральных изъянах, а в языке, придуманном, скорей всего, мужчинами и приспособленном ими для себя, так что хоть женский род у слов этих есть, но отчего-то почти не в ходу.

Но в один прекрасный день, спустя примерно четыре недели с того незабываемого утра, когда тучи на небе налились небывалым лиловым цветом, Иосиф — дело шло к вечеру, — сидя у себя дома на полу, ужинал, запуская, как тогда было принято, всю пятерню в чашку, а Мария стоя ожидала, когда он насытится, чтобы доесть остатки, и оба молчали — одному сказать было нечего, а другая не знала, как облечь в слова то, что мелькало у нее в голове, — в калитку постучал один из тех нищих, которые, хоть и не были в Назарете в диковинку, забредали туда очень редко, поскольку место это было убогое, а обита-

тели его в большинстве своем жили скучно и трудно, какового обстоятельства не могли не учитывать многоопытные и проницательные попрошайки, к делу приспособившие теорию вероятности и уяснившие, что в Назарете им не обломится. Но Мария отложила в чашку добрую порцию чечевицы с горохом и пряным луком, составлявшую ее ужин на сегодня, и отнесла все это нищему, который, не входя во двор, присел у ворот наземь и принялся за еду. Ей не надо было вслух спрашивать у мужа разрешения — он обходился кивком или качанием головы, ибо, как нам уже известно, слова были излишни во времена кесарей, когда одного лишь движения большого пальца довольно было, чтобы добить гладиатора или оставить его жить. А нищий, который, без сомнения, не ел уже дня три, ибо нужно проголодаться по-настоящему, чтобы в мгновение ока не только опростать, но и вылизать чашку, уже снова стучался в калитку — вернуть пустую посуду и поблагодарить за милосердие. Мария открыла: нищий стоял прямо перед нею, неожиданно огромный — гораздо выше ростом, чем показалось ей вначале, так что, быть может, и впрямь накормленный досыта человек разительно отличен от голодного, — и лицо его как бы озарилось внутренним светом, глаза засверкали, а невесть откуда налетевший ветер вдруг раздул и взметнул ветхие его лохмотья, и помутившемуся на миг взору тряпье это предстало богатым и пышным нарядом, во что поверить, конечно, дано тому лишь, кто при этом присутствовал. Мария протянула руки, чтобы принять у нищего глиняную чашку, которую причудливейшая игра по-особенному преломившихся солнечных лучей заставила вдруг заблистать чистейшим золотом, а в ту минуту, когда чашка переходила из рук в руки, раздался трубный глас, тоже невесть откуда взявшийся у жалкого попрошайки: Да благословит тебя Бог, жена, да пошлет Он тебе детей, да избавит Он их от доли, что выпала тому, кто стоит перед тобой, чья жизнь исполнена горестей,

кому некуда приклонить голову. Мария по-прежнему держала чашку перед собою, словно чашу для подаяния, словно ждала от нищего милостыни, и тот, ничего более не объясняя, нагнулся, взял пригоршню земли и, протянув руку над чашкой, дал земле медленно просыпаться сквозь пальцы, после чего произнес глухо и гулко: Глина — ко глине, прах — ко праху, земля — к земле, все, имеющее начало, обретет и конец, все, что начинается, рождается из окончившегося. Мария, смутившись, спросила: Что означают эти слова? А нищий ответил: Жена, во чреве своем носишь ты сына, только эта участь и уготована людям — начинать и кончать, кончать и начинать. Как же ты узнал, что я беременна? Чрево твое еще не расстет, но, когда дитя зачато, по-особому блестят глаза матери. Но тогда муж мой должен был бы по глазам моим понять, что я понесла от него. Быть может, взгляды ваши не встречаются. Скажи, кто же ты такой, что знаешь это, ни о чем не спрашивая меня? Я ангел, только никому не говори об этом.

В эту самую минуту блистающее одеяние вновь стало отрепьями, а исполинская фигура съежилась и усохла, словно ее опалило языком пламени, и чудесное это превращение свершилось как раз вовремя, сразу после того, как Мария и нищий благоразумно отстранились друг от друга, ибо в дверях дома, привлеченный голосами, звучавшими более сдавленно и глухо, чем водится это в обычной беседе между бродягой, попросившим подаяния, и хозяйкой, появился Иосиф, встревоженный тем, что беседа эта затянулась. Чего еще ему от тебя было надо? — спросил он жену, а та, не найдясь, что ответить, повторила слова нищего: Глина — ко глине, прах — ко праху, земля — к земле, все, имеющее начало, обретет и конец, все, что начинается, рождается из окончившегося. Это он тебе сказал? Он. И еще сказал, что дитя, не рожденное, но зачатое, придает глазам женщины особый

блеск. Ну-ка погляди на меня. Гляжу. Глаза твои и вправду блестят необычно, сказал Иосиф. А Мария ответила: У тебя будет сын. Сумеречное небо между тем стало синеть, обретая первые краски ночи, и видно стало, что со дна глиняной чашки исходит черный свет, окутывая лицо Марии, менять его черты, и глаза ее теперь будто принадлежали женщине намного старше ее годами. Значит, ты беременна? — спросил наконец Иосиф. Беременна, ответила она. Что же ты раньше не сказала? Как раз сегодня собирались, ждала, пока ты отужинаешь. А тут вот и пришел этот бродяга? Да. Что еще он тебе сказал, больно долго вы с ним разговаривали. Сказал, что Господь пошлет мне столько детей, сколько ты захочешь. А что там у тебя на дне чашки, что это там так блестит? Там земля. Перегной черен, глина зелена, песок бел, и только песок блестит под солнцем, но ведь сейчас ночь. Я женщина, мне такое понять не под силу: он поднял пригоршню земли, бросил ее в чашку и проговорил эти вот слова. Земля — к земле? Да.

Иосиф откинул щеколду, выглянулся на улицу, поглядел в обе стороны. Никого не вижу, исчез, сказал он, но Мария уже спокойно удалялась к дому, ибо знала, что бродяга, если он и вправду тот, за кого выдает себя, захочет — покажется, а не захочет — останется незрим. Чашку она поставила на приступку очага, достала уголек и зажгла светильник, дуя до тех пор, пока над фитилем не заплясал огонек. Вошел Иосиф — взгляд у него был озабоченный и недоуменный, и растерянность свою он пытался скрывать за неторопливостью движений и величавой осанкой, и выглядело это забавно и неуместно, ибо столь юному человеку было, по слову поэта, еще далеко до патриарха. Искуса, чтобы не заметила жена, он стал поглядывать на чашку со светящейся землей, причем старался сохранять на лице насмешливо-недоверчивое выражение, но старания его пропали втуне — Мария

не поднимала глаз, и ее вообще словно не было тут. Иосиф, помедлив немного, встряхнул землю в чашке, подивившись тому, как она сначала потемнела, а потом вновь обрела неяркий ровный блеск и на поверхности ее заиграли, зазмеились стремительные искры. Не понимаю, сказал он, тут дело нечисто: может, это какая-то особенная земля, которую он принес с собою и сделал вид, что просто подобрал пригоршню, чудеса какие-то — никто не видывал пока, чтобы земля у нас в Назарете так сверкала. Мария не отвечала; она доела остававшуюся в котелке чечевицу с горохом и луком, жуя смоченный оливковым маслом ломоть хлеба. Отламывая его от краюхи, она произнесла, как учит Закон, но тоном смиренным и подобающим женщине: Слава Тебе, Господи, Царю Небесный, что дал колосу этому вырасти из земли. Потом молча принялась за еду, меж тем как Иосиф впервые прислушался к произнесенным женою словам, которые и сам повторял всякий раз, когда преломлял хлеб, — прислушался и призадумался, словно толковал в синагоге стих из Торы или заповедь пророка, и попытался представить себе, какой же ячмень может вырасти из такой вот светящейся земли, какое зерно даст он, и что за хлеб из такого зерна получится, и что будет, если такой вот хлеб съесть. А ты уверена, что он просто подобрал эту горсть с земли? — снова обратился он к Марии, и Мария ответила: Да, уверена. И она не блестела? На земле не блестела. Она произнесла это так твердо, что должно было бы поколебаться то исконное недоверие, с каким мужчина относится к поступкам и словам женщин вообще, а своей законной супруги в особенности, однако Иосиф, как и всякий мужчина, живший в те времена в том краю, всем сердцем разделял весьма распространенное мнение, в соответствии с которым тем мудрее мужчина, чем лучше умеет он беречься от женских чар и уловок. Поменьше говорить с ними и еще меньше их слушать — таким правилом руководствуется всякий благоразумный человек,

помнящий наставление рабби Иосафата бен Иоканаана: В смертный твой час взыщется с тебя за всякий разговор, что вел ты без крайней нужды с женой своей. И тогда Иосиф, спросив себя, можно ли этот разговор с Марией отнести к разряду нужных, и придя к выводу, что да, можно, ибо следует принять в расчет необычность происшествия, все же мысленно поклялся себе самому никогда не забывать святых слов своего тезки — Иосафат ведь то же, что Иосиф, — дабы в смертный час не предаваться запоздалым сожалениям, и дай Бог, чтобы час этот настал еще не скоро. И наконец, спросив себя, стоит ли поведать старейшинам из синагоги о таинственном нищем и о пригоршне светящейся земли, решил, что стоит. Сделать это надлежит для очистки совести и для того, чтобы защитить мир и покой своего домашнего очага.

Мария окончила ужин. Составила стопкой посуду, собираясь вымыть ее, но, само собой разумеется, отодвинула в сторону чашку, из которой кормила нищего. А комната освещалась теперь двумя огнями — горела коптилка, еле-еле справляясь с тьмою вдруг наступившей ночи, и шло от пригоршни земли в чашке ровное рассеянное сияние, словно от солнца, никак не решавшегося взойти на небе. Мария, сидя на полу, ждала, не скажет ли ей муж еще что-нибудь, но Иосифу, видно, нечего было ей сказать, и был он занят тем, что обдумывал речь, с которой намеревался обратиться завтра к мудрецам и старейшинам. Он досадовал отчасти, что не знал в точности, что же произошло между бродягой и женой, какие еще слова были сказаны ими друг другу, но спрашивать не хотел, и вот почему: во-первых, сомнительно было, чтобы Мария добавила еще что-нибудь к сказанному, а во-вторых, тогда пришлось бы принять дважды повторенный рассказ жены на веру, то есть признать его истинность. Если же рассказ ее лжив, ему, Иосифу, все равно во лжи ее не уличить, а она, зная, что лгала и лжет, посмеется над ним втихомолку, пряча лицо под покрывалом, как, судя

по всему, смеялась над Адамом Ева, которой еще трудней было таить свой смех, ибо в ту пору не носили покрывал и нечем, стало быть, было закрыть лицо. Мысль Иосифа, дойдя до этой точки, далее двинулась путем естественным и неизбежным, и таинственный попрошайка представился ему посланцем Искусителя, который, не будучи столь наивен, чтобы не понимать, что времена ныне не те и что теперешних людей так запросто, как раньше, не проведешь, не стал прибегать к повторению старого своего трюка с запретным плодом, а измыслил, используя легковерность и коварство женской натуры, новый — со странною, светящеюся землей. Голова у Иосифа точно огнем объята, но при этом он остался доволен собой и ходом своих рассуждений. Мария же, не подозревая даже, в какие дебри демонологии углубился ее муж и какую тяжкую ответственность намерен он на нее возложить, пытается тем временем осмыслить ту странную пустоту, которую стала она ощущать с той самой минуты, как поведала Иосифу о своей беременности. Пустоту эту испытывает она не внутри своего тела, ибо теперь со всей непреложностью и в самом прямом смысле слова сознает, что оно заполнено. Чувствует она некую странность вокруг и вне себя, словно белый свет вот-вот померкнет или отодвинется в дальнюю даль. Она вспоминает — но и воспоминания эти как бы о другой жизни, — что после ужина и перед тем, как раскатать на ночь циновки, всегда находилось у нее занятие по дому, а вот теперь думает, что не надо ей двигаться с места, вставать с пола: сиди как сидишь, гляди на свет, мерцающий над чашкой, жди рождения сына. Из уважения к истине скажем, что мысли Марии не были так отчетливы и ясны, ибо мысли больше всего напоминают спутанный клубок ниток с торчащими во все стороны концами, покорно-податливыми или, наоборот, натянутыми так тую, что, дернув за них, можешь пресечь дыханье, а то и вовсе ненароком удавиться, но чтобы узнать и измерить всю длину

этой втрое скрученной и перепутанной нити, надо размотать и растянуть клубок, а это при всем желании самому, без посторонней помощи, сделать нельзя — кто-то в один прекрасный день должен явиться и сказать, где следует перерезать пуповину, и связать мысль с тем, что породило ее.

На следующее утро Иосиф, которого всю ночь мучил один и тот же повторяющийся кошмар — ему снова и снова снилось, будто он падает на дно исполинской перевернутой чаши, — отправился в синагогу просить совета и помощи у старейшин. Случай его был необычным до такой степени — а до какой именно, он и сам даже не представлял себе толком, поскольку, как мы с вами знаем, не был осведомлен о самом главном, о сути происшествия, — что, если бы не та безупречная репутация, какой пользовался он у старейших иуважаемых людей Назарета, пришлось бы ему, пожалуй, возвращаться домой ни с чем, бегом, с горящими от стыда ушами, в которых бронзовым гудом отзывались бы слова Писания: Легковерный достоин осуждения, а он, потеряв присутствие духа, не сумел бы, вспомнив сон, мучивший его всю ночь напролет, возразить словами из того же Писания: Зеркало и сны суть одно и то же, в том и в других видят человек собственный свой образ. Но старейшины, выслушав его рассказ, сначала переглянулись, а потом обратили взоры к Иосифу, и самый старый из всех, переведя смутное недоверие в прямоту вопроса, сказал: То, что ты поведал нам, есть правда, вся правда и только правда? А плотник ответил: Господь свидетель, что это правда, вся правда и только правда. Старейшины принялись совещаться и совещались долго, покуда Иосиф стоял в сторонке, а потом, подозвав его, объявили, что, поскольку между ними возникли разногласия, приняли они решение отправить троих посланцев расспросить саму Марию об этих странных происшествиях, выяснить, кто же был тот нищий бродяга, которого никто больше не видел,

как выглядел он, какие именно слова произнес, появлялся ли он в Назарете когда-либо еще, — и попутно вызнать у соседей все, что может иметь отношение к этому таинственному человеку. Сердце Иосифа возвеселилось, ибо он, хоть и не сознавался в этом даже себе самому, отчего-то робел при мысли о том, что придется возвращаться к жене одному, — за эти сутки она изменилась: как велит обычай и приличия, не поднимала глаз, но в лице ее появилось при этом и нечто новое, некий нескрываемый вызов, — такое выражение свойственно тому, кто, зная больше, чем намерен сказать, желает, чтобы о знании этом ведомо было всем. Истинно, истинно говорю вам, нет пределов лукавству женщины, даже самой чистой помыслами.

И вот следом за Иосифом, указывавшим дорогу, вышли трое посланцев, чьи имена — Авиафар, Дотаим и Закхей — приводятся здесь исключительно для того, чтобы на нас не пала хотя бы тень подозрения в исторической недобросовестности, каковое подозрение способно зародиться в душах людей, узнавших об этих фактах и версиях из других, отличных от наших источников, быть может более освященных традицией, но оттого не более достоверных. А назвав посланцев по именам, мы доказываем самый факт существования тех, кто имена эти носил, тем самым лишая сомнения если не почвы, то уж, во всяком случае, убедительности. И поскольку не каждый день ветер ерошит бороды и раздувает хламиды трех шагающих по улице мудрых старцев, коих так легко узнать по особой величавости их поступи и осанки, то вскоре собралась вокруг них орава мальчишек, с извинительной по малолетству непочтительностью хохотавших, галдевших и бежавших следом за посланцами до самого дома Иосифа, изрядно раздосадованного тем, что приход старайшин сделался известен всему Назарету благодаря сопровождавшим это шествие шуму и крикам. Привлеченные ими, появились на пороге своих домов женщины

и в предвкушении новостей закричали детям, чтобы бежали поскорей к дому Марии да разузнали, что это там за сборище. Зряшные это были старания, ибо вошли в дом лишь хозяин и трое старейшин, и захлопнувшаяся перед самым носом любопытных соседок дверь и по сию пору лишает нас возможности узнать, что же происходило в жилище плотника Иосифа. А неутоленное любопытство разожгло воображение, и нищий, которого никто так и не видел, превратился в вора и грабителя, что есть совершеннейший поклеп, ибо ангел — вас попрошу никому не говорить о том, что это был ангел, — ничего не украл, а съел то, что ему дали, да еще и оставил некий сверхъестественный залог. Так что, покуда двое старейшин расспрашивали Марию, третий, не столь обремененный годами и носивший имя Закхей, пошел по соседям собирать сведения об этом самом нищем, наружность которого описала жена плотника Иосифа, в чем нимало не преуспел, ибо все в один голос утверждали, что вчера никакой нищий через городок не проходил, а если и проходил, то к ним не стучался, и вообще это, должно быть, был вор, который, обнаружив, что в доме есть люди, прикидывался попрошайкой и уходил от греха подальше — старая как мир воровская уловка.

И Закхей ни с чем вернулся в дом Марии как раз в ту минуту, когда она в третий или в четвертый раз пересказывала то, что нам уже известно. Она стояла перед старейшинами, как подсудимая, а в чашке на полу, подобно ровно бьющемуся сердцу, мерно пульсировала светом загадочная горсть земли. Рядом с женой сидел Иосиф, старейшины же — перед ними, подобно судьям, и первым заговорил Дотаим, средний по возрасту. Пойми нас, женщина, мы не то что не верим твоим словам, но ты — единственная, кто видел этого человека, если это был человек, и муж твой только слышал его голос, и вот Закхей, обойдя соседей, сообщил нам, что никто из них его не видал. Господь свидетель, что я сказала вам правду. Правду-то

правду, но всю ли правду и все ли в твоих речах правда? Я готова подвергнуться испытанию, выпить горькой воды в доказательство того, что не виновна ни в чем. Горькую воду дают пить женщинам, заподозренным в супружеской неверности, а у тебя, Мария, и времени-то не было изменить мужу. Ложь, говорят, та же измена. Это другая измена. Уста мои так же верны, как и я сама. Тут заговорил Авиафар, самый древний старец: Мы ни о чем тебя не станем более расспрашивать, но помни, что Господь семикратно воздаст тебе за правду и семижды семь раз взыщет с тебя, если ты солгала нам. Он замолчал и молчал довольно долго, а потом, обращаясь к своим спутникам, спросил: Что делать нам с этой блестящей землей? Благоразумно было бы не оставлять ее здесь, весьма вероятно, что это козни нечистого. Сказал Дотаим: Пусть вернется она туда, откуда была взята, и вновь станет темной. Сказал Закхей: Мы не знаем, кто был тот нищий, почему не хотел он, чтобы видел его кто-либо, кроме Марии, не знаем и почему пригоршня земли в глиняной чашке испускает свет. Сказал Дотаим: Отнесем ее в пустыню, подальше, чтобы никто не видел, пусть ветер развеет ее, пусть дождь погасит этот свет. Сказал Закхей: Если земля эта приносит счастье, никуда ее уносить не надо, если же она во зло, пусть пострадают от него те лишь, кто был для этого избран и предназначен, кому землю эту принесли. И спросил тогда Авиафар: Что же ты предлагаешь? И ответил Закхей: Выкопаем здесь яму и зароем в ней эту чашку, но сначала прикроем крышкой, дабы эта земля не смешалась с землей обычной: добро и закопанное не пропадет втуне, а зло хоть будет не видно. Спросил Авиафар: Что ты думаешь об этом, Дотаим, а тот ответил: Закхей дело говорит, так и поступим. И сказал Авиафар Марии: Отойди, и мы приступим. Куда же я отойду? — спросила она, а Иосиф с внезапной тревогой вмешался: Если уж закапывать чашку, то не здесь, а во дворе, а то я уснуть не смогу, зная, что подо мною похо-

ронен свет. И сказал ему Авиафар: Делай как знаешь, — и Марии: Ты оставайся здесь. Мужчины вышли во двор, Закхей нес чашку. Вскоре послышались частые и мерные и сильные удары мотыги, это Иосиф копал землю, а спустя несколько минут донесся голос Авиафара: Ну, хватит, глубже не надо. Мария, прильнув к щели в двери, видела: муж черепком разбитого кувшина накрыл чашку и сунул ее в яму, чуть не по плечо запустив туда руку, потом выпрямился, снова взялся за мотыгу, забросал яму землей, а землю вокруг притоптал.

Четверо мужчиностояли еще во дворе, переговариваясь вполголоса и поглядывая на пятно свежей земли, как будто только что зарыли клад и теперь стараются покрепче запомнить это место. Но говорили они, конечно, о другом, потому что вдруг послышался, заглушая остальных, голос Закхея, и в голосе этом звучала как бы насмешливая укоризна. Что же ты за плотник такой, Иосиф, что беременной жене кровать смастерить не можешь? Старцы засмеялись, и засмеялся с ними Иосиф, не без угодливости и смущения, — как тот, кому указали на оплошность и кто не хочет в ней признаваться. Мария видела, как они шагают к калитке, как выходят на улицу, а потом, присев у очага, повела глазами по комнате, словно ища, куда надо будет поставить кровать, если муж и вправду соберется сколотить ее. Она не хотела думать ни о глиняной чашке, ни о светящейся земле, ни о том, в самом ли деле в доме у нее вчера побывал ангел, или же нищий попрошайка подшутил над нею. Женщина, когда ей обещают поставить в комнате кровать, должна думать только, где лучше кровать эта встанет.

Когда дни месяца Тамуз перетекли в дни месяца Ав, когда уже начался сбор винограда, и в жесткой темной зелени смоковниц засветились, поспевая, первые ягоды, и происходили описанные выше события, были среди

которых и самые обычные и обыденные, ибо есть ли что в мире обыденней и обычней, чем слова женщины, по прошествии известного срока после телесной близости с мужем к мужу обращенные: Я тяжела от тебя — и совершенно неслыханные, поскольку никоим образом нищий странник, будь он хоть семи пядей во лбу, не мог возвестить женщине ей самой пока неведомую беременность, тем более что он-то, поверьте, к этой беременности отношения не имел никакого, ибо за ним числилось лишь это необъяснимое происшествие с пригоршней земли, засветившейся в чашке, которую благодаря недоверчивости Иосифа и благоразумной осторожности старцев убрали с глаз долой, закопав поглубже во дворе. Наступали знойные дни, засуха оголяла поля, ломкой и хрупкой делалась трава, и Назарет, в удущливые дневные часы окруженный со всех сторон безмолвием и одиночеством, ждал пришествия звездной ночи, чтобы услышать наконец, как дышит во тьме пространство, как звучит музыка небесных сфер. Отужинав, Иосиф усаживался во дворе, справа от двери, наслаждаясь первым дуновением вечерней прохлады, овеявшим лицо и бороду. Когда становилось совсем темно, выходила во двор и Мария, тоже садилась наземь, как и муж, только по левую сторону двери, и так сидели они молча, слушали доносившийся из домов по соседству гул и звук семейной жизни, неведомой им, бездетным пока супругам. Послал бы Господь мальчика — не раз в течение дня думал Иосиф, и Мария тоже говорила про себя: Послал бы Господь мальчика, и хотели они оба одного и того же, но по разным причинам. Чрево Марии росло медленно, минули недели и месяцы, прежде чем положение ее стало всем известно, и она, по застенчивости и скромности нрава мало общавшаяся с соседками, вызвала всеобщее изумление, словно средь бела дня появилась на людях в ночной сорочке. Очень может быть, что скрытность ее имела и еще одну,

куда более тайную причину, а именно: ни за что на свете она не хотела бы, чтобы кто-нибудь сумел усмотреть и обнаружить связь между ее беременностью и появлением в Назарете таинственного нищего, и эта предосторожность, нелепой кажущаяся нам, осведомленным о том, как все бывает и как все было на самом деле, в иные часы, когда тело истомно млеет, а душа предается странным и вольным мечтаниям, заставляла Марию, одновременно и напуганную вздорной неосновательностью своих сомнений, и объятую неведомым прежде трепетом возбуждения, спрашивать себя: кто же истинный и настоящий отец ребенка, который уже рос у нее под сердцем? Впрочем, известно, что женщины в интересном положении склонны предаваться еще более нелепым фантазиям, испытывать желания немыслимые и неодолимые — еще почище того, что обуревало Марию и которое мы, дабы не пятнать добродорядочность будущей матери, сохраним в тайне.

А время шло, и месяц Ав неспешно перетек в раскаленную жаровню месяца Элула, когда с юга, из пустыни, прилетает обжигающий ветер и слаше меда делаются финики и инжир, а Элул сменился месяцем Тишри, когда умягченная первыми осенними дождями земля принимает в себя лемех сохи и семя, а за Тишри настал и месяц Хешван, когда приходит пора сбора олив, и тут Иосиф, воспользовавшись тем, что стало наконец попрохладней, решил смастерить грубый топчан — как мы знаем, для создания того, что заслуживало бы названия кровати, он должным мастерством наделен не был, — чтобы Марии после стольких ожиданий было где полежать, покоя тяжелый и неудобный живот. Под конец месяца Кислев зарядили проливные дожди, не прекращавшиеся почти весь следующий месяц Тевет, и потому Иосифу пришлось перенести постройку кровати со двора в дом, и, открыв дверь, чтоб было светлее, он пилил, обтесывал,

строгал и сколачивал грубые козлы, оставляя вокруг себя кучи опилок и стружек, которые Мария потом сметала, собирала и выносила опять же во двор.

Настал месяц Шват, зацвел миндаль, а когда минул месяц Адар и праздник Пурим, явились в Назарет римские солдаты из тех, что давно уже ходили по городкам и селам Галилеи и другим областям царства Ирода, сообщая жителям, что повелением императора Августа те, кто имеет жительство в провинциях, управляемых консулом Публием Сульпицием Квирином, должны пройти перепись, цель которой, как и всех предшествующих, — привести в соответствие с истинным положением дел списки платящих налоги Риму, для чего им всем без исключения надлежит вернуться в места, уроженцами коих они являются. Большей части горожан, слушавших на площади императорский указ, не было до него никакого дела, ибо они из поколения в поколение жили в Назарете, где и должны были пройти перепись. Были, однако, среди них и люди пришлые — из Гавлонитиды или Самарии, из Иудеи, Переи или Идумеи и из прочих мест, ближних и дальних, — и вот они-то сразу призадумались и принялись вполголоса бранить неуемную алчность Рима и толковать между собой о том, что вот скоро придет время убирать ячмень и лен, а рабочих рук-то не будет. А те, кто был обременен многочисленными семьями, малыми детьми, или престарелыми родителями, или дряхлыми стариками, задумались, как одолеть предстоящий им долгий и трудный путь, у кого бы принанять за небольшие деньги осла с телегой, как запастись в дорогу съестным и водой, ибо идти придется через пустыню, где раздобыть потребное количество циновок и одеял, как защититься от дождей и ночной стужи, поскольку ночевать в пути придется, очень возможно, на голой земле, под открытым небом.

Иосиф узнал об императорском указе, когда солдаты уже удалились, неся отрадную весть в другие места: рас-

Литературно-художественное издание

ЖОЗЕ САРАМАГО
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИИСУСА

Ответственный редактор Александр Гузман
Художественный редактор Валерий Гореликов

Технический редактор Татьяна Раткевич
Корректор Маргарита Ахметова

Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 02.03.2018. Формат издания 75 × 100 ¹/₃₂.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 18,33. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» –
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93
 www.oaompk.ru, www.oaompk.rph
Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60
E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua
Информация о новинках и планах на сайтах:
www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



Y-VAK-18631-82-R